

— Михаил Николаевич, пожалуй, все ваши произведения в большей или меньшей мере автобиографичны. Это — стремление писать о пережитом?

— Нелегкую судьбу угото-вила мне жизнь: я участвовал в боях на Халхин-Голе, прошел Отечественную войну, а если к этому прибавить и голодное, сиротское детство, то, наверное, станет понятным, почему я ни о чем другом, кроме как о пережитом, и писать не могу. Мне даже трудно бывает заменять подлинное имена людей, послуживших прототипами, на вымышленные. В «Вишневом омуте» я сохранил подлинное имена героев, заменив лишь фамилии. Для меня люди, о которых пишу, — как краеугольный камень, который я как бы кладу в основу произведения. Скажем, строит избу деревенский мужик. Сначала он ставит по четырем углам камни. Потом положит бревна на эти камни. Так и растет дом. Вот и для меня те люди, о которых я пишу, лица которых постоянно передо мной, тоже как бы краеугольные камни, которые я кладу в основу книги. Они не дают моей фантазии вырваться из реальной действительности. Они живые свидетели. Они сидят, молчат, но как бы говорят: «Не лги, не лукавь, мы все видим». Я постоянно чувствую потребность ощущать рядом этих живых свидетелей...

— Наверное, автобиографизм рождает раскованность и свободу письма?

— Не знаю, есть ли здесь такая прямая зависимость, но раскованность эта дается не сразу. Впервые я почувствовал ее, когда писал повесть «Дивизионка». Форма ее мне как-то не давалась. И тогда я подумал: «Что мне искать тебя, форма, что мне тужиться, напрягаться. Буду писать так, как если бы я все стал рассказывать близкому человеку». И повесть пошла. Раскованность приходит тогда, когда ты доверился своим ощущениям.

— Многим писателям, по их признанию, трудно начать свою новую вещь. А как вам дается начало книги?

— Первая фраза в романе, повести и, наверное, в стихах имеет огромное значение. Напишешь — мысль вроде высказана точно, но чувствуешь, что-то не то, не ложится... Прочитаешь вслух — звучит фальшиво, нет соответствия смысла и звучания.

— Стало быть, каждая мысль имеет только одну, строго отвечающую ей форму выражения...

— Во всяком случае, в идеале так должно быть. Но до-

биться подобного соответствия чрезвычайно трудно. Вообще же, самое нужное и лучшее слово, ритм, мелодика фразы находятся не в голове, а в сердце. И пока мое сердце и ум не соединятся, не стану работать сообща, все написанное будет сухим, рассудочным. Надо, чтобы мысль разбудила сердце, чтобы сердце включилось в процесс творчества. Тогда все пойдет хорошо, и являясь единственно верные слова.

— Таким единственно нужным может быть и случайно услышанное, но специально

— Новая техника вашей работы?

— Я обязательно пишу от руки. Первый вариант у меня, как правило, черновой, тут я много черкаю. Второй — более рельефен. Но и с ним еще много-много работы. Когда я переписываю рукопись, то вдруг отыскиваются нужные слова, которые раньше не были найдены. А если бы я стал переписывать на машинке, то они могли бы и не прийти. Но и на машинке я тоже печатаю сам — это опять же творческий процесс, но как бы на последней его стадии.

— Михаил Николаевич, а какую роль в вашей писательской судьбе сыграли критические оценки вашего творчества?

все. Иногда разозлишься и думаешь, дай попробую сам.

Сейчас — хочу обратить внимание «АГ» — появился интересный писатель. Это известный актер Валерий Золотухин. Его первая книга обрадовала меня, пожалуй, так же, как в свое время сборник Шукшина. У В. Золотухина, мне кажется, яркое не только актерское, но и литературное дарование. Как же не поддержать его на новой стезе!

— Михаил Николаевич, а какую роль в вашей писательской судьбе сыграли критические оценки вашего творчества?

щие в журнал, и очень доверял вкусу, профессиональному чутью своих сотрудников. Но тут дело было спорное. Его убедили прочесть «Карюху». Он взял ее с собой домой. А на другой день звонит в редакцию и просит прислать ему «Хлеб — имя существительное», в свое время в пух и прах разнесенный на страницах того же журнала. А потом потребовал и «Вишневый омут».

Через несколько дней в Доме литераторов праздновали юбилей М. Исаковского. Председательствовал на нем Твар-

— Хотелось бы, Михаил Николаевич, чтобы вы рассказали об одном из ваших последних замыслов.

— Вы даже не поверите, как много я загубил хороших замыслов, рассказав о них. Я после этого уже не творец, а переписчик. И слова идут не те, и мысль беспомощна и бескрыла.

— Простите мою настойчивость, но я знаю, что вы вот уже несколько лет работаете над новым романом. Даже название его известно — «Сталинград»...

— Да, противоречу сам себе, я уже не раз говорил о нем. Боюсь, что новый разговор на эту тему может вызвать улыбку, даже раздражение: сколько же можно выдавать авансы! Роман этот условно действительно называется «Сталинград». Я до последнего дня Сталинградской битвы командовал там ротой. И заветной моей мечтой было написать об этом грандиозном и трагическом времени. Но тема пугала своей масштабностью, сложностью. Да и тяжело снова возвращаться к этим годам. И все-таки воспоминания о них мучат, требуют выхода. Отдельные фрагменты написаны. Все мои военные произведения — подступы к этой теме. Помните ли роман «Солдаты»? В ходе работы над ним я понял, что Сталинградская битва — это тот момент нашей истории, когда дух народа подвергся особенно суровому испытанию на прочность и стойкость. Но ведь к этому моменту нас готовили все годы Советской власти. А между тем эти годы были очень нелегкими. И надо показать, как зрела в нашем народе огромная душевная сила, та сила, которая и помогла победить в этой тяжелой войне.

Поэтому, может быть, раньше появится не «Сталинград», хотя частично он уже написан, а роман, в котором я попытаюсь нарисовать картину жизни нашего общества с 20-х годов до начала войны.

— И последний вопрос, Михаил Николаевич: ваш любимый современный писатель?

— Шолохов. Почему? Есть писатели, которые доступны не всем. А Шолохов и академику, и простому человеку доступен. Это уникальное явление в нашей литературе. Стоит раскрыть его книгу — и жизнь, трагическая и смешная, предстанет перед тобой. Поистине «живая жизнь». Мы говорили выше о раскованности. Вот в чьих книгах полная, безграничная раскованность! И правда, беспредельная правда!

Беседу вел
А. ВЕРЕЩАГИНА

Лит. газ, 1979, авг., N32



«... ЧТОБЫ МЫСЛЬ РАЗБУДИЛА СЕРДЦЕ»

сбереженное памятью слово. Записываете ли вы, Михаил Николаевич, слова, поговорки, фразы?

— Записываю. И слова, и интересные выражения, и особенно частушки. Казалось бы, можно этого и не делать: есть сборники песен, частушек, по слову. Читай и выбирай откуда все, что нужно. Но меня это не устраивает. Неизвестно, живут они в народе или нет. А это очень важно: те, которые бытуют сегодня, как бы согреты живым человеческим теплом, могут иметь и другую интонацию, и другое звучание. Именно такие меткие народные слова и словечки я записываю.

Раз как-то поздно вечером в своем родном селе Монастырском встречаю мужика:

— Ты куда?

— На хутор.

— Ты же утонешь (дожди шли долго, река разлилась). Да и что тебе там в такую позднь делать?

— А у меня, — говорит, — там завлэка живет.

«Завлэка» — такого слова я в литературе не встречал. Сколько в нем теплоты, ласковости и какой-то мягкой иронии. Да и сама по себе ситуация, в которой оно вдруг прозвучало, забавная: мужик-то уж больно неказистый, просто сморчок, а какую-то завлэку выдумал.

— Михаил Николаевич, вы часто пишете о собратях по перу. Глаза «Современника» из книги «Слово в строю» посвящена многим писателям и поэтам. Чем вызвано это желание рассказывать о творчестве других художников?

— Пожалуй, тут две причины. Во-первых, пишу потому, что хочется рассказать, почему те или иные авторы и их книги интересны мне. Четырнадцать лет назад мне попала маленькая книжечка «Сельские жители». Я удивился тому, как решился неизвестный автор дать своей первой книге столь будничное, незаметное название. Начал читать — и поразился, как интересно, густо пишет молодой прозаик. Это был Шукшин. Как я мог утерпеть и не рассказать о нем людям?!

Есть и еще одна причина. Не хочу обижать нашу критику, но мне кажется, у нас мало критиков, отмеченных яркой индивидуальностью. Возникает ощущение, что под той или иной рецензией, статьёй можно подставить фамилию почти любого критика, настолько эти статьи безлики, ординарны. Прочтешь вещь, она покорила тебя и языком, и творческой манерой, и другими какими-то своими особенностями. А потом посмотришь рецензию об этой же книге и ничего, кроме разочарования, не испытаешь: пересказ содержания, общие, зевотно-скудные суждения. И

То, что я после некоторых критических оценок как писатель устоял на ногах, этим я, как ни парадоксально, во многом обязан критике, вернее — критикам. И прежде всего покойному Александру Николаевичу Макарову. Многие с благодарностью говорят о нем как о человеке, который помог сделать первые шаги на нелегкой литературной дороге. Помог он и мне. Когда я написал «Хлеб — имя существительное», мне пришлось пережить немало грудностей: в издательстве «Советский писатель» сначала отказались печатать роман. Не знаю, кому пришла спасительная для меня мысль отдать рукопись на рецензирование Макарову. Он написал заключение. Сколько было в этом заключении ума, доброты и требовательности! И как помогла мне эта рецензия!

Но некоторые критические оценки выносили мне как писателю просто смертный приговор. И, поверь я им, давно бы должен был оставить литературу. Немало волнений пришлось пережить с повестью «Карюха». В «Новом мире» скорее всего подготовили на нее рецензию. Рецензия была разгромная. На редколлегии, где решалась судьба рукописи, разгорелись страсти. Редактировал журнал в эти годы Александр Трифонович Твардовский. Он, конечно, не мог читать все материалы, поступаю-

дский. Я сидел вместе с другими писателями в фойе. Ждали приезда Александра Трифоновича. И вот он входит, и я с изумлением вижу, что он направляется прямо ко мне. Наверное, думаю, с кем-то перепутал. Нет. Подходит и громко так говорит: «Алексеев, мы были к вам несправедливы». И подает руку. И сам весь как-то побархосел. Видно, и ему тяжело было за меня. Я был просто ошарашен этой фразой.

Как видите, с критикой бывает всякое. Особенно плохо, если в критике возобладает групповщина, определяющая, кому быть битым, а кому живым. В такой ситуации похвалят тебя, допустим, а ты не испытываешь радости, потому что не знаешь, по заслугам похвалили или нет. Ничего нет вреднее для литературы, чем групповщина. Сейчас она, слава богу, чувствуется в неизмеримо меньшей степени, чем раньше. И здесь я должен сказать несколько добрых слов в адрес вашей газеты... Я вижу, какое разнообразие имен появляется на страницах «Литературной газеты», сколь разные направления, вкусы отражает она. Это самым плодотворным образом сказывается на развитии нашей литературы.

К этому стремимся и мы в журнале «Москва». Я как редактор подвержен пристрастиям, но как редактор обязан быть беспристрастным.